

# Лишь краткий миг земной мы все прекрасны

**Автор:**

[Оушен Вуонг](#)

Лишь краткий миг земной мы все прекрасны

Оушен Вуонг

МИФ Проза

Лиричный, нежный и полный сострадания роман молодого американо-вьетнамского поэта Оушена Вуонга вошел в шорт-листы нескольких литературных премий и получил New England Book Award и National Book Award. Герой романа, молодой американский писатель, пишет письмо своей матери – неграмотной иммигрантке из послевоенного Вьетнама. В этом письме трудная семейная история, боль и утраты взросления, глубокое исследование силы слов. Среди непонимания, немоты, попыток выжить и поисков себя герои сохраняют жажду жизни, способность любить и видеть красоту в кратких мгновениях. На русском языке публикуется впервые.

Оушен Вуонг

Лишь краткий миг земной мы все прекрасны

Ocean Vuong

On Earth We're Briefly Gorgeous

Издано с разрешения Ocean Vuong и The Marsh Agency Ltd. acting in conjunction with Aragi Inc.

Дизайн серии, иллюстрация и дизайн внутреннего блока Макса Зими́на (дизайн-студия «Космос»)

Редакция посчитала необходимым оставить в тексте перевода сцены упоминания запрещенных веществ, так как они важны для раскрытия сюжета и характера героев, а также по той причине, что в тексте описаны негативные последствия приема запрещенных веществ.

Все права защищены. Никакая часть данной книги не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме без письменного разрешения владельцев авторских прав.

© 2019 by Ocean Vuong

© Перевод на русский язык, издание на русском языке, оформление. ООО «Манн, Иванов и Фербер», 2020

?

Посвящается моей матери

Давай посмотрим, смогу ли я, вообразив эти слова клочком земли,

А мою жизнь краеугольным камнем,

Построить для тебя центр.

Цю Мяоцзинь

Я хочу рассказать тебе правду и уже рассказала о широких реках.

Джоан Дидион

## Часть I

Придется начать сначала.

Дорогая мама!

Пишу, чтобы быть ближе к тебе, хотя каждое написанное слово уводит все дальше. Пишу, чтобы снова вернуться в прошлое, в тот ресторанчик в Вирджинии, где, остолбенев от ужаса, ты не могла отвести взгляд от чучела оленя. Его морда висела над автоматом с газировкой рядом с туалетами, рога отбрасывали тень на твое лицо. В машине ты то и дело качала головой: «Не понимаю, зачем такое вешать? Они что, не видят, что это труп? Труп нужно закопать, а не оставлять вот так на целую вечность».

Я вспомнил того оленя, как ты смотрела в его черные стеклянные глаза и видела в них свое отражение, тело целиком изогнулось в зеркале безжизненных зрачков. Тебя возмутило даже не уродство головы без тела, а то, что чучело собой воплощало: бесконечное умирание, что повторяется снова и снова, а мы проходим мимо справить нужду.

Я пишу, потому что меня учили никогда не начинать предложение со слов «потому что». Но я и не собирался строить предложение, я хотел освободиться. Потому что свобода – это всего лишь дистанция между охотником и его добычей. Так мне сказали.

Осень. Неподалеку от озера Мичиган начинается миграция бабочек монархов[1 - Данаида монарх – вид бабочек из семейства нимфалид. Во время ежегодной миграции способны преодолевать большие расстояния. Прим. ред.], их более пятнадцати тысяч. За два месяца, с сентября по ноябрь, снова и снова складывая и расправляя крылья, они перелетят из Южной Канады и Соединенных Штатов в Центральную Мексику. Там и перезимуют.

Бабочки порхают между нами, садятся на подоконники и на забор из проволочной сетки, веревка все еще подрагивает под тяжестью белья, вдали кузов блекло-синего «шевроле»; бабочка медленно смыкает крылья, словно хочет отложить их в сторону, а потом взмах – и она летит.

Вся популяция может погибнуть за одну морозную ночь. Значит, жизнь – это вопрос времени, правильного момента.

Помнишь, как однажды – мне было пять – я решил тебя разыграть и выпрыгнул из-за двери с воплем «Бум!»? Ты вскрикнула, лицо исказила гримаса, потом ты начала глотать воздух, схватилась за грудь и оперлась о стену, тяжело дыша. Я был в замешательстве, на голове покачивался игрушечный солдатский шлем. Я, американский мальчишка, решил повторить то, что увидел по телевизору. Откуда мне было знать, что война до сих пор идет внутри тебя, что это навсегда, что, если ты однажды видел войну, ее уже не забыть? Она так и будет отдаваться эхом у тебя в голове, звуком, из которого возникает лицо твоего собственного сына. Бум!

Я учился в третьем классе. Моя учительница английского, миссис Кэллэхэн, помогла мне прочесть первую книжку, которая мне понравилась: «Пирог из грома» Патрисии Полакко. Бабушка и внучка заметили, что на горизонте собирается гроза, но не стали закрывать ставни и запирать двери. Они решили испечь пирог. Этот безрассудный, но смелый поступок – полнейшее отрицание здравого смысла – совершенно сбил меня с толку. Миссис Кэллэхэн стояла за моей спиной и читала мне на ухо, поток слов уносил меня все дальше и дальше. История разворачивалась у меня перед глазами: учительница заговорила, началась гроза, я повторил фразу, и прогремел новый раскат грома. Бабушка и внучка пекли пирог в разгар бури, ели сладкое за миг до разгрома.

Помнишь, как ты впервые ударила меня? Кажется, мне было четыре. Ладонь, вспышка, осмысление. Во рту жгло от пощечины.

Помнишь, как я попытался научить тебя читать? Я сделал все как миссис Кэллэхэн: склонился над твоим ухом и накрыл твою ладонь своей. Слова колыхались в тени наших тел. Это действие – сын учит собственную мать – вывернуло наизнанку не только иерархию в нашей семье, но и нашу идентичность, которую эта страна уже достаточно истончила и сковала. Сначала

ты запинаясь и ошибалась, потом корявые предложения застревали у тебя в горле; наконец ты устыдилась собственного поражения, захлопнула книгу и отрезала: «Я не хочу читать». Поджав губы, ты встала из-за стола. «У меня есть глаза. Для жизни мне и этого хватит».

Помнишь тот случай с пультом? У меня на предплечье остался синяк, пришлось врать учителям:

– Мы играли в салки, и я упал.

Помнишь, как в сорок шесть лет тебе вдруг захотелось что-нибудь раскрасить? Однажды утром ты сказала: «Идем в “Волмарт”. Мне нужны раскраски». Несколько месяцев ты наполняла ладони цветами, названия которых не могла выговорить. Маджента, киноварь, мариголд, пьютер, можжевеловый, коричный. Каждый день по несколько часов ты, сгорбившись, раскрашивала фермерские уголья, пастбища, виды Парижа, двух лошадей на ветру посреди равнины, лицо черноволосой девочки, у которой ты не стала заштриховывать кожу, оставила ее белой. Рисунки ты развесила по квартире, и она стала походить на класс в начальной школе. Я спросил:

– Почему раскраски? Почему именно сейчас?

Ты отложила сапфирово-синий карандаш, мечтательно залюбовалась неоконченным садом и ответила: «Я как бы ненадолго погружаюсь в этот рисунок. Но я все чувствую. Я по-прежнему здесь, в комнате».

Помнишь, как ты швырнула мне в голову коробку с «Лего»? Помнишь капли крови на паркете?

– Бывало у тебя такое, что ты придумываешь картину, – ты собирала пазл с пейзажем Томаса Кинкейда, – а потом помещаешь туда себя самого? Ты когда-нибудь наблюдал за собой со стороны? Следил за тем, как все дальше уходишь в созданный тобой пейзаж?

Как мне было объяснить, что ты говоришь о писательстве? Как сказать, что мы так близки, что тени наших рук сливаются на соседних страницах.

– Прости, – ты бинтовала мне лоб. – Одевайся. Идем в «Макдоналдс». – С пульсирующей болью в голове я макал куриные наггетсы в кетчуп, а ты смотрела на меня. – Ты должен расти большим и сильным, понял?

Вчера я перечитывал «Горестный дневник» Ролана Барта[2 - Ролан Барт (1915–1980) – французский философ и литературовед. Прим. пер.], книгу, которую он писал день за днем в течение года после смерти своей матери. Он пишет: «Я видел, как тело моей матери болеет и умирает». Тогда я отложил книгу и решил написать тебе. Пока ты еще жива.

Помнишь те субботы в конце месяца, когда мы ходили в торговый центр, если у тебя оставались деньги после оплаты счетов? Кто-то наряжается в церковь или на званые ужины, а мы наряжались, чтобы пойти в торговый центр на трассе I-91. Ты вставала пораньше, целый час прихорашивалась, надевала свое лучшее черное платье, расшитое блестками, золотые серьги-кольца и парчовые туфли. Потом ты опускалась на колени и укладывала мне волосы помадой, зачесывая их назад.

Глядя на нас, никто бы не подумал, что мы покупаем продукты в лавке на углу Франклин-стрит. Там в дверном проеме валяются старые чеки за покупки, основные продукты – молоко и яйца – в три раза дороже, чем за городом, сморщенные и побитые яблоки лежат в картонных коробках, подмоченных свиной кровью, которая вытекла из контейнера с отбивными, потому что лед в нем давно растаял.

«Давай купим дорогущих шоколадок», – предлагала ты, указав на магазин кондитерской фабрики «Годива». И мы получали пакет, а в нем – пять или шесть квадратиков с разными вкусами. Больше в торговом центре мы не покупали ничего. Потом прохаживались, передавая друг другу пакет, пока ладони не становились темно-блестящими и липкими. «Вот как надо радоваться жизни», – говорила ты, облизывая пальцы; розовый лак на ногтях потрескался, потому что всю неделю ты делала педикюр клиентам салона красоты.

Помнишь, как кричала на меня посреди парковки, сжав кулаки? Закатное солнце исполосовало твои волосы красным. Я закрыл голову руками, а сверху на меня градом сыпались удары.

По субботам мы бродили по коридорам торгового центра, пока одна за другой не начинали опускаться металлические двери магазинов. Тогда мы шли вниз по улице к автобусной остановке, над головами у нас поднимался пар изо рта, у тебя на лице высыхала косметика. Мы уходили, пустыми руками держась друг за друга.

Сегодня утром, перед самым рассветом, в окно я увидел оленя. Опустился такой густой и белый туман, что второй олень, стоявший неподалеку от первого, казался его незавершенной тенью.

Можешь раскрасить эту картину. Назови ее «История памяти».

Миграцию может спровоцировать угол, под которым падает солнечный свет: значит, меняется время года, температура, растительность, иссякают источники пищи. Самки бабочек монархов откладывают личинки по пути. У каждой истории более одной сюжетной линии, и каждая линия – история разделения. Бабочки преодолевают путь длиной 7773 километра, что превышает протяженность этой страны. Они летят на юг, но на север не возвращаются. Обратный путь проделают уже их дети; будущее вернется к прошлому.

Разве страна – это не безграничная фраза, не жизнь?

Помнишь, как в лавке у китайского мясника на крюке висела жареная туша свиньи? Ты указала на нее и объяснила: «Ребра прямо как человеческие, когда сгорят». Ты усмехнулась, потом замерла, достала кошелек, побледнела и пересчитала наши деньги.

Разве страна это не пожизненное заключение?

Помнишь тот случай с бутылкой молока? Она ударилась о мое плечо, и на плиточный пол пролился белоснежный дождь.

А помнишь, как в парке развлечений «Шесть флагов» ты прокатилась вместе со мной на американских горках в машине Супермена, потому что я побоялся

кататься один? Тебя укачало, и ты засунула голову прямо в мусорный бак, куда тебя стошнило. Я тогда вдоволь навизжался от радости, но так и не сказал тебе спасибо.

Помнишь, как мы с тобой пошли в «Гудвилл»[3 - Сеть американских секонд-хендов, где можно купить одежду, обувь, бытовую технику и разные мелочи. Прим. пер.] и набрали полную тележку товаров с желтой этикеткой? В тот день на них была дополнительная скидка – минус пятьдесят процентов. Я толкал тележку, запрыгивал на перекладину над колесами и летел, чувствуя себя богатым, ведь у меня была целая гора выброшенных кем-то сокровищ. Тогда мы праздновали твой день рождения. Мы кутили. «Я похожа на американку?» – ты приложила к себе белое платье. Оно выглядело слишком официальным, но в то же время достаточно базовым – может быть, когда-нибудь ты бы надела его. Может быть. Я кивнул и ухмыльнулся. В тележке скопилось столько вещей, что я не видел ничего перед собой.

Помнишь тот случай с кухонным ножом? Ты взяла его, потом положила и чуть слышно сказала, дрожа: «Пошел прочь. Пошел прочь». И я побежал по летним улицам куда глаза глядят. Бежал, пока не забыл, что мне всего лишь десять; пока биение моего собственного сердца не заглушило все остальные звуки.

А тот раз в Нью-Йорке, через неделю после того, как в автокатастрофе погиб двоюродный брат Фыонг? Я зашел в вагон метро на втором маршруте[4 - Второй маршрут нью-йоркского метрополитена проходит через Бруклин, Манхэттен и Бронкс. Прим. пер.] и увидел его. Двери открылись, а за ними ясное и круглое лицо брата, живого. Я вздрогнул, но быстро понял, что это всего лишь человек, похожий на него. И все же я был потрясен, увидев то, чего не надеялся увидеть уже никогда, – его черты лица, массивная челюсть, прямой взгляд. Его имя чуть было не сорвалось у меня с губ. Выйдя на улицу, я сел на пожарный гидрант и позвонил тебе. «Мам, я видел его, – задыхаясь, сказал я. – Клянусь тебе, я только что его видел. Это безумие, я знаю, но в вагоне ехал Фыонг». У меня началась паническая атака. Ты все поняла. Немного помолчав, ты запела: «С днем рождения тебя». Это не был мой день рождения, просто других песен на английском ты не знала и продолжала петь. Я слушал, так крепко прижав трубку к уху, что спустя несколько часов на щеке все еще краснел отпечаток телефона.

Мне двадцать восемь, рост метр шестьдесят три, вес пятьдесят один килограмм. Я привлекателен со всех сторон – просто убийственно хорош, как ни посмотри.

Мое тело когда-то было частью тебя, то есть это письмо пишет твой собственный сын.

Если нам повезет, конец одного предложения станет началом следующего. Если нам повезет, кое-что удастся передать дальше – другой алфавит, вшитый в кровь, жилы и нейроны. Предки передают потомкам инстинкт лететь на юг, менять курс и стремиться в ту часть повествования, где никто не должен был выжить.

Как-то раз я подслушал твой разговор с клиенткой салона. Она потеряла кого-то из близких, а ты утешала ее. Ты красила ее ногти, а она плакала и причитала:

– Умерла моя малышка, моя крошка Джули. Не могу в это поверить! Она была самая сильная, самая старшая.

Ты кивала, спокойно глядя поверх медицинской маски.

– Тише, не плачь, – по-английски сказала ты. – От чего умирать Джули?

– У нее был рак, – ответила клиентка. – Она умерла на заднем дворе! Прямо там, черт возьми!

Ты опустила ее руку на стол и сняла маску. Рак. Ты подалась вперед.

– Моя мать тоже умирать из-за рака.

В зале повисло молчание. Другие мастера ерзали на стульях.

– Что случится на заднем дворе? Почему она умирать там?

Клиентка вытерла слезы.

– Она там жила. Джули – моя лошадь.

Ты кивнула, надела маску и продолжила красить ее ногти. Когда клиентка ушла, ты сдернула маску и швырнула ее через весь зал.

– Долбаная лошадь! – по-вьетнамски воскликнула ты. – А я подумала, дочь! Уже цветы на могилу нести собралась!

В тот день, обслуживая других клиенток, ты то и дело поднимала глаза и негодовала: «Лошадь у нее сдохла!» – и все мы смеялись.

Помнишь, как я наконец остановил тебя? Мне было тринадцать. Твоя ладонь замерла в воздухе, щека у меня горела от первого удара. «Хватит, мам. Довольно. Прошу тебя». Я смотрел на тебя в упор, точно так же, как научился смотреть на своих обидчиков в школе. Ты отвернулась, молча надела шерстяное коричневое пальто и ушла в магазин. «Я за яйцами», – как ни в чем не бывало, сказала ты. Но мы с тобой знали: больше ты меня не ударишь.

Пережившие миграцию монархи передали этот опыт своим детям. Память о тех членах семьи, кого погубило начало зимы, вшита в их гены.

Когда война закончится? Когда я смогу позвать тебя по имени и оно будет означать только твое имя, а не все то, что ты оставила позади?

Помню, как проснулся чернильно-синей ночью. В голове – нет, во всей квартире – тихая музыка. Босиком по холодному паркету я пошел в твою комнату. Постель была пуста. Звучал Шопен, мелодия доносилась из шкафа. Решетчатая дверь подернулась красным, как будто за ней разгорелся пожар. Я сидел снаружи и слушал увертюру, фоном раздавалось твое дыхание. Не знаю, долго ли я так просидел. Потом вернулся в постель, натянул одеяло до подбородка и замер, пока она не перестала – не музыка, а моя дрожь.

– Мам, – я снова позвал тебя, но никто не откликнулся. – Вернись. Пожалуйста, вернись!

Однажды ты сказала, что человеческий глаз – самое одинокое творение Господа на свете. Едва ли не целый мир проходит сквозь него, но внутри не остается ничего. Глаз один в своей глазнице; он даже не догадывается, что совсем рядом, в паре сантиметров, есть другой точно такой же глаз, голодный и пустой. Открыв дверь навстречу первому в моей жизни снегу, ты прошептала: «Смотри!»

Помнишь, как ты чистила фасоль над раковиной и ни с того ни с сего сказала: «Я не монстр. Я мать»?

Что мы имеем в виду, говоря «выживший»? Может, выживший – это последний вернувшийся домой монарх, что опускается на ветку под тяжестью своих потерь?

Наступило утро.

Я отложил книгу. Концы стручков разрывались, фасолины отбивали глухой ритм на дне раковины, словно кто-то барабанил пальцами. «Ты не монстр», – ответил я.

Но я солгал.

На самом деле я хотел сказать, что быть монстром не так уж страшно. Латинское слово *monstrum* означает «божественный предвестник катастрофы»; на старофранцузском оно стало означать «зверь, созданный из нескольких существ: кентавр, грифон или сатир». Быть монстром – значит быть гибридным созданием, сигналом маяка: ты одновременно и убежище, и предостережение.

Я читал, что родители, страдающие от посттравматического синдрома, чаще бьют своих детей. Может быть, в них все же есть что-то от монстров. Что, если рукоприкладство – это способ подготовить ребенка к войне? Слова «сердце бьется» никогда не прозвучат так просто, как «да-да-да», что сердце говорит телу.

Откуда мне знать?

Могу с уверенностью сказать одно: в секунд-хенде «Гудвилл» ты протянула мне то белое платье и, широко распахнув блестящие глаза, попросила: «Прочти и скажи: оно огнестойкое?» Я осмотрел подол, внимательно изучил этикетку и, хотя сам не умел толком читать, ответил: «Да». Просто сказал «да». Я солгал, приложив платье к твоему лицу: «Оно огнестойкое».

Несколько дней спустя соседский мальчишка увидел меня в том самом платье. Я надел его в надежде больше походить на тебя и вышел на улицу, пока ты была

на работе. Мальчишка проезжал мимо на велосипеде. На другой день на перемене дети стали обзывать меня уродом, «девчонкой» и педиком. Намного позже я узнал, что все это – синонимы слова «монстр».

Порой я представляю себе, будто бабочки монархи спасаются не от зимы, а от твоего сожженного напалмом детства во Вьетнаме. Вот они летят прочь от пожарищ и взрывов, живые и невредимые, а их черно-оранжевые крылья трепещут, будто пепел, который ветер разносит на сотни километров вокруг. Посмотри вверх: не видно взрыва, заставившего их бежать; перед тобой лишь стая бабочек, парящих в прохладном чистом воздухе. Они машут пережившими столько разрушительных пожаров огнестойкими крыльями.

– Это очень хорошо, сынок. – Ты смотрела сквозь меня с каменным лицом, прижав платье к груди. – Хорошо.

Мам, ты мать. А еще ты монстр. И я монстр, вот почему я не могу отвернуться от тебя. Вот почему я взял самое одинокое творение Господа и спрятал в него тебя.

Смотри.

Я удалил первый черновик этого письма. В нем я рассказывал тебе, как стал писателем. Как я, первый человек с высшим образованием в нашей семье, тратил все свое время и деньги на то, чтобы получить научную степень по английскому языку. Как в старших классах прогуливал бесполезную школу и сбегал в Нью-Йорк. Там я пропадал среди библиотечных полок и зачитывался туманными текстами давно ушедших авторов. При жизни они и мечтать не могли, чтобы кто-то вроде меня корпел над их трудами, а о том, что их произведения станут моим спасением, и говорить нечего. Но все это уже не важно. Главное, что благодаря им я стал самим собой, хотя тогда и представить этого не мог. Благодаря им сейчас я пишу тебе обо всем, чего ты так никогда и не узнаешь.

Дело в том, что однажды я был мальчишкой без единого синяка. Помню, мне было восемь, я стоял посреди единственной комнаты нашей квартирki в Хартфорде и смотрел на спящую бабушку Лан. Хоть она и твоя мать, вы с ней совсем не похожи: кожа у нее на три тона темнее твоей – цвета земли после дождя, – острые скулы, а глаза блестящие, как битое стекло. Не знаю, почему

тогда я отложил горстку зеленых солдатиков и подошел к ней. Лан лежала на полу под одеялом, скрестив руки на груди. Во сне ее глаза двигались под веками. Лоб избородили глубокие морщины, следы пятидесяти шести прожитых лет. Муха приземлилась возле уголка рта, а потом перепрыгнула поближе к кромке синеватых губ. Левая щека дернулась. При свете солнца ее кожа с большими темными порами казалась покрытой рябью. Никогда раньше я не видел, чтобы кто-то так много двигался во сне – разве что собаки, но нам не дано узнать, что им снится.

Теперь я понимаю, что хотел увидеть безмятежность. Нет, не на бабушкином лице, которое то и дело дергалось, пока она спала, а у нее в голове. Лишь в этой подрагивающей тишине ее мозг, взрывной и дикий в часы бодрствования, обретал что-то похожее на покой. Я подумал, что смотрю на незнакомку; на губах у нее появилось выражение, похожее на довольную улыбку – я никогда не видел бабушку такой. Когда Лан просыпалась, бессвязные слова и предложения сыпались с ее губ; шизофрения только усугублялась с конца войны. Буйная – вот какой она всегда была. Сколько я ее помню, бабушка мельтешила передо мной, то теряя, то вновь обретая ясность ума. Вот почему теперь, когда я глядел на нее, такую безмятежную в свете полуденного солнца, я будто смотрел в прошлое.

Приоткрылся один глаз, подернутый молочной пеленой сна. Открылся шире, ухватил мой образ. Я боролся с собой, прикованный к полу столбом света, лившегося из окна. Открылся второй глаз, чуть покрасневший, но более ясный.

– Есть хочешь, Волчонок? – спросила бабушка, лицо оставалось таким же невыразительным, как и во сне.

Я кивнул.

– Что бы такого съесть в это время дня? – Лан обвела комнату взглядом.

Я решил, что это риторический вопрос, и закусил губу.

Я ошибся.

– Что будем есть, я спрашиваю?

Бабушка села; ее волосы до плеч встопорщились, как у героев мультиков после взрыва бомбы. Она переползла поближе, села на корточки перед солдатами, выбрала одного, зажала между пальцами и стала изучать. Все ее тело было несовершенным, кроме ногтей – ты, как всегда аккуратно, привела их в порядок и наредила. Нарядные глянцево-красные ногти ярко выделялись на заскорузлых узловатых пальцах, которыми она сжимала игрушечного радиста, внимательно рассматривая, точно археологическую находку на раскопках.

Солдатик с переносной радиостанцией за спиной застыл на одном колене, что-то крича в рацию. Судя по униформе, это был военный времен Второй мировой.

– Пгетставьте, мсье? – спросила бабушка у пластмассового человечка на смеси плохого английского и французского. Резким движением Лан прижала его рацию к уху и прислушалась, не сводя с меня глаз. – Знаешь, что мне тут говорят, Волчонок? – по-вьетнамски спросила она. – Передают, – бабушка склонила голову набок и придвинулась ко мне, ее дыхание – смесь травянистого запаха леденцов от кашля и мясного аромата, какой бывает у спящих людей; ухо проглотило голову зеленого человечка. – Передают, что brave солдаты побеждают, когда бабушки угощают их вкусеньким.

Лан крикнула, замерла, выражение ее лица резко стало пустым. Она положила солдатика мне на ладонь и сомкнула мои пальцы вокруг него. Потом поднялась и, шаркая, пошла на кухню, подошвы шлепанцев хлопали по пяткам. Я сжал радиста в руке, пластиковая антенна его рации вонзилась в ладонь, а из соседской квартиры в комнату сочилась глухая мелодия рэгги.

У меня всегда было много имен. Волчонок меня прозвала Лан. Почему женщина, назвав себя и свою дочь в честь цветов, решила окрестить внука волчонок? Потому что всегда беспокоилась за своих, вот почему. Ты знаешь, что в деревеньке, где бабушка выросла, самого младшего и хилого ребенка, каким я и был, называли в честь самых отвратительных вещей: демонов, призраков, свиных пяточков, отпрысков обезьяны, бычьих голов, ублютков. Волчонок – самое нежное из возможных имен. Злые духи, блуждающие по земле в поисках здоровых и красивых детей, услышат, как мать зовет к ужину кого-то омерзительного или устрашающего, и пролетят мимо, не тронув ребенка. То есть, если любишь, назови объект любви так, чтобы его никто не тронул, а значит, оставил в живых. Прозрачное, как воздух, имя может стать щитом. «Волчонок» – это щит.

Я сидел на кухонном полу и смотрел, как Лан кладет две горки горячего риса в глубокую фарфоровую тарелку, окаймленную виноградной лозой цвета индиго. Она взяла чайник. Поверх риса полилась струя жасминового чая, несколько зерен всплыло на янтарной поверхности. Над ароматной тарелкой поднимался пар, мы передавали ее друг другу, сидя на полу. Представляешь себе протертые цветы на вкус? Таким было это блюдо: горьким и сухим, с ярким и сладким послевкусием.

– Истинное блаженство, – Лан ухмыльнулась. – Вот он, наш фастфуд, Волчонок. Это наш «Макдоналдс»!

Она перевалилась на один бок и смачно пукнула. Я повторил за ней, и мы расхохотались, крепко зажмурившись. Бабушка перестала смеяться и кивнула в сторону тарелки с рисом:

– Доедай. Сколько риса оставишь, столько опарышей придется съесть в аду. – Лан сняла резинку с запястья и собрала волосы в узел.

Говорят, психологическая травма поражает не только мозг, но и все тело: мускулатуру, суставы и осанку. Лан постоянно горбилась, и так сильно, что я едва мог разглядеть ее голову, когда она стояла у мойки. Только пучок волос дрожал в такт движениям ее рук.

Бабушка взглянула на кухонную полку. Там сиротливо стояла полупустая банка арахисовой пасты.

– Нужно купить еще хлеба.

Однажды накануне Дня независимости соседи устроили фейерверк на крыше дома в нашем квартале. Сияющие полосы прорезали фиолетовое небо, подсвеченное огнями города, и рассыпались на огромные взрывы, которые сотрясали нашу квартиру. Я спал на полу в гостиной, зажатый между тобой и бабушкой; по ночам я спиной ощущал тепло ее тела, но тут вдруг его не стало. Я повернулся, Лан сидела на коленях и яростно искала что-то в одеялах. Не успел я спросить, что случилось, как она зажала мне рот холодной и влажной ладонью.

– Тс-с-с, – предостерегла она. – Если закричишь, минометы нас тут же засекут.

Бабушкино лицо оказалось в тени, уличный свет отразился в желтоватых глазах-озерах. Она схватила меня за запястье и притянула к окну, мы сели на корточки под подоконником и стали слушать, как взрывы рикошетом отдаются у нас над головами. Бабушка медленно усадила меня к себе на колени, мы ждали.

Лан все бормотала что-то о минометах резким шепотом; она то и дело прикрывала мне рот ладонью, и в нос ударял запах чеснока и лечебного тигрового бальзама. Должно быть, мы просидели так несколько часов; за моей спиной ровно билось бабушкино сердце, свет в комнате стал сначала серым, потом цвета индиго, позволяя разглядеть на полу две спящие фигуры под одеялами – это были ты и твоя сестра Май. Ваши силуэты походили на две горные гряды в заснеженной тундре. Вот моя семья, подумал я, тихий арктический пейзаж, наконец нашедший покой после ночного артобстрела. Когда мне на плечо опустился потяжелевший подбородок Лан, а ее дыхание стало ровнее, я понял, что наконец и она уснула вслед за своими дочерьми; все, что я видел теперь, был снег посреди лета, ровный, вездесущий и безымянный.

Прежде чем я стал Волчонком, я отзывался на другое имя – имя, которое получил при рождении. Стоял октябрь, полдень; в хижине, крытой банановыми листьями, на тех же рисовых полях в пригороде Сайгона, где росла и ты, я стал твоим сыном. Бабушка рассказывала, что местный шаман, сидя с двумя помощниками на корточках у входа, ждал, когда младенец заплачет. Как только Лан с повитухами перерезали пуповину, шаман с помощниками поспешили в хижину, спеленали меня, все еще липкого, в белую ткань и побежали к близлежащей реке. Там, в зарослях полыни, в дымке благовоний, меня омыли.

Плачущего, с перепачканным сажей лбом, меня отдали отцу, и шаман прошептал мое имя. Оно означает «патриот и вождь народа», объяснил он. Шамана пригласил мой отец. Заметив угрюмое выражение у нанимателя на лице, знахарь выкатил грудь колесом, чтобы при росте сто пятьдесят два с половиной сантиметра казаться внушительнее, замахал руками и выбрал такое имя, которое, как мне кажется, вполне устроило человека, оплатившего его услуги. Шаман оказался прав. Лан говорит, отец широко улыбался, подняв меня над головой к потолку хижины. «Мой сын будет вождем Вьетнама», – воскликнул он. Однако два года спустя жить во Вьетнаме станет настолько страшно (и даже через тринадцать лет после войны страна в руинах), что мы бежали, покинув землю, на которой стоял отец, – ту землю, что в паре метров от темного пятна алой крови у тебя между ног. Кровь превращалась в грязь, а я был жив.

Иногда Лан по-другому относилась к шуму. Помнишь, как-то раз после обеда мы уселись вокруг нее, чтобы послушать сказку, как вдруг с улицы раздались звуки стрельбы? Хотя в Хартфорде частенько стреляли, я так и не привык к звуку выстрелов – резкому и более будничному, чем я его себе представлял, как будто маленькая бейсбольная лига совершила серию хоум-ранов[5 - Хоум-ран – наиболее зрелищный момент в бейсболе, когда отбивающий и игроки на базах успевают совершить полный круг по базам и попасть в дом. Прим. пер.] в ночном парке. Ты, тетя Май и я – все закричали, уткнувшись носами в пол.

– Кто-нибудь, выключите свет! – велела ты.

На несколько секунд мы оказались в темноте, и тут Лан сказала:

– Подумаешь, три выстрела. – Судя по тому, откуда раздавался бабушкин голос, она даже не сдвинулась с места. Не дернулась. – Не согласны? Вы умерли, что ли? – Юбки зашелестели, соприкасаясь с кожей, Лан, точно волна, прошла мимо нас. – Во время войны и мяукнуть не успеешь, как вся деревня взлетит на воздух. – Она высморкалась. – Включите свет, пока я не забыла, куда иду.

Я делал кое-что для Лан: брал пинцет и один за другим выщипывал седые волосы.

– У меня на голове снег, – объяснила она. – Из-за него все чешется. Выдерни мои больные волосы, Волчонок. Снег врезается мне в голову. – Она зажала пинцет между пальцами и с улыбкой попросила: – Сделай так, чтобы бабушка помолодела.

За эту работу Лан платила мне историями. Я усаживал ее спиной к окну, становился позади нее коленями на подушку и крепко сжимал пинцет в руке. Голосом на октаву ниже обычного она заводила рассказ, все глубже погружаясь в повествование. Чаще всего она бессвязно бормотала, перескакивала с одного на другое, а ее рассказы следовали друг за другом без перерыва. Они изливались из ее сознания, а неделю спустя возвращались снова с одним и тем же началом:

– А сейчас, Волчонок, я расскажу тебе такое, что ты ахнешь. Готов? Тебе вообще интересно, что я говорю? Хорошо. Потому что я никогда не вру.

Начинался знакомый рассказ с теми же театральными паузами и модуляциями голоса в моменты нагнетания или резкого поворота событий. Я как будто в сотый раз смотрел фильм, созданный из бабушкиных слов, оживавший у меня в воображении. Такая у нас была взаимопомощь.

Пока я выдергивал седые волосы, голые стены вокруг нас не столько зарастали фантастическими пейзажами, сколько открывались им навстречу: бетон распадался на глазах, показывая картины из прошлого. Там были и эпизоды войны, и мифологические человекоподобные обезьяны, и древние охотники за призраками на холмах возле города Далата, которым за работу платили кружками рисовой водки и которые путешествовали со сворами диких собак, а заклинаниями на пальмовых листьях отпугивали злых духов.

Лан рассказывала мне и о личном. Например, о том, как появилась ты; твоим отцом был белый мужчина – американский солдат, прибывший на военную базу в бухте Камрань на миноносце. Как она познакомилась с тем солдатом: вот она заходит в бар, на ней лиловый аозай[б - Аозай – национальный вьетнамский костюм. В современном виде представляет собой длинное платье с двумя разрезами по бокам. Прим. пер.], его полы развеваются в свете огней. Как к тому моменту она успела уйти от первого мужа, за которого ее выдали родители. Как ей, молодой женщине, оставшейся без семьи в разгар войны, помогали выжить собственное тело и лиловое платье. Она говорила, а моя рука двигалась все медленнее, а потом и вовсе замерла. Я был поглощен действием фильма, который разворачивался на стенах квартиры. Я забылся в ее рассказе, по собственной воле потерялся в нем, но тут Лан протянула руку и пошлепала меня по бедру: «Ну-ка, не спи!» Но я не спал. Я стоял рядом с ней, а ее лиловое платье колыхалось в задымленном баре, звенели бокалы, пахло машинным маслом, сигарами, водкой и пороховым дымом.

– Помоги мне, Волчонок, – Лан прижала мои руки к своей груди. – Помоги мне остаться молодой, убери снег из моей жизни, убери его.

Тогда я кое-что узнал. Порой безумие ведет к открытиям, учит, что просветы бывают даже в расколоте и больном сознании. Комнату снова и снова наполняли наши голоса, снег сыпался с головы Лан, белел паркет вокруг, а перед глазами разворачивалось прошлое.

Еще тот случай в школьном автобусе. Как обычно по утрам, никто не захотел сесть рядом со мной. Я прижался лбом к окну и стал вглядываться в пейзаж,

укутанный рассветным розоватым полумраком: вот «Мотель б», вот прачечная самообслуживания Кляйна, еще не открылась, а вот бежевая «тойота» без капота застряла посреди двора, одно колесо крутится наполовину в грязи. Автобус набирал скорость, а фрагменты города проносились мимо окна, как в загрузочном люке стиральной машины. Вокруг меня мальчишки толкали друг друга. Я шеей чувствовал ветерок от быстрых движений рук, кулаки взлетали, воздух дрожал. Зная, что у меня необычное по местным меркам лицо, я сильнее прижался лбом к стеклу, иначе и мне бы прилетело. Тут посреди парковки за окном что-то блеснуло. Только когда я услышал голоса мальчишек за спиной, я понял, что та искра вспыхнула у меня голове. Кто-то с силой ударил меня лицом о стекло.

– Говори по-английски, – сказал стриженный под горшок белобрысый мальчишка, его отвислые щеки покраснелись и задрожали.

Мам, самые безжалостные стены делают из стекла. Мне захотелось разбить его и выпрыгнуть в окно автобуса.

– Ты понял? – толстомордый наклонился ко мне, щекой я чувствовал его кислое дыхание. – Так и будешь молчать? Ты хоть по-английски понимаешь? – Он схватил меня за плечо и развернул к себе лицом. – Смотри на меня, когда я с тобой разговариваю!

Конец ознакомительного фрагмента.

notes

Сноски

Данаида монарх – вид бабочек из семейства нимфалид. Во время ежегодной миграции способны преодолевать большие расстояния. Прим. ред.

2

Ролан Барт (1915–1980) – французский философ и литературовед. Прим. пер.

3

Сеть американских секонд-хендов, где можно купить одежду, обувь, бытовую технику и разные мелочи. Прим. пер.

4

Второй маршрут нью-йоркского метрополитена проходит через Бруклин, Манхэттен и Бронкс. Прим. пер.

5

Хоум-ран – наиболее зрелищный момент в бейсболе, когда отбивающий и игроки на базах успевают совершить полный круг по базам и попасть в дом. Прим. пер.

6

Аозай – национальный вьетнамский костюм. В современном виде представляет собой длинное платье с двумя разрезами по бокам. Прим. пер.

----

Купить: [https://tellnovel.me/ru/vuong\\_oushen/lish-kratkiy-mig-zemnoy-my-vse-prekrasny](https://tellnovel.me/ru/vuong_oushen/lish-kratkiy-mig-zemnoy-my-vse-prekrasny)

Текст предоставлен ООО «ИТ»

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию: [Купить](#)